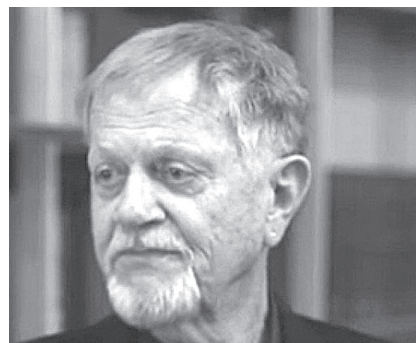


Правда и обстоятельства. Что (все-таки) подобает говорить о Холокосте?¹

ХЕЙДЕН
УАЙТ

При каких обстоятельствах будет грубо, бестактно или просто неуместно спросить: «Правда ли это?» – когда дело касается дискурса, который явным образом отсылает к реальному миру прошлого, настоящего или будущего? И если имеются определенные высказывания (выражения, намеки, предположения, заявления, предложения или утверждения) о реальном мире, применительно к которым вопрос «Правда ли это?» оказывается неуместным, то какого рода отклики (если они вообще допустимы) на подобные высказывания были бы уместны?

Я задаю эти вопросы в контексте продолжающейся дискуссии о том, что составляет «подобающую» репрезентацию Холокоста – события, столь травматичного, что, когда его неопровержимые доказательства стали достоянием гласности, многие люди и общественные группы поначалу отнеслись к ним с недоверием. На смену недоверию пришло негодование: как «современная», «просвещенная», «христианская» и «гуманистическая» немецкая нация могла предать идеалы европейской цивили-



Хейден Уайт (1928–2018) – американский историк и теоретик историописания, один из основоположников «лингвистического поворота» в историографии, профессор Стэнфордского университета (США) и Калифорнийского университета в Санта-Круз (США).

1 Статья представляет собой вторую главу книги Хейдена Уайта «Практическое прошлое», русский перевод которой готовится к выходу в издательстве «Новое литературное обозрение». Перевод осуществлен по изданию: WHITE H. *The Practical Past*. Evanston: Northwestern University Press, 2014.

**ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПРОШЛОЕ,
ИСТОРИЧЕСКАЯ
ИСТИНА И СУД
ИСТОРИИ: ВОКРУГ
КНИГИ ХЕЙДЕНА
УАЙТА**

зации, достойным представителем которой она являлась? Но даже после этого вопрос о том, что означает «Окончательное решение еврейского вопроса», что это событие говорит о европейских ценностях как таковых, о современности, Германии, «евреях», иудаизме и «Европе», оставался насущным и казался неразрешимым. Для историков – профессиональных хранителей западного исторического сознания, культивирующих пресловутую историческую науку, – главный вопрос, поставленный Холокостом, заключался в его сущности как специфически «исторического» события, в том, как его можно вписать, включить в нормативный нарратив европейской истории и наилучшим образом к нему приспособить. В то же время ощущение, что Холокост был «необычным», «новым» и, возможно, даже «уникальным» событием в истории Европы создавало возможность для радикального пересмотра этой истории, чтобы по достоинству оценить то проникновение в реальную природу европейской цивилизации, которое это событие, по-видимому, позволяло сделать. И в самом деле, «экстремальный», если не уникальный, характер Холокоста поднял важнейшие вопросы о теоретических предпосылках, лежащих в основании современных западных представлений об «истории», методологиях, используемых современными профессиональными историками для познания исторического прошлого, а также протоколах и техниках, используемых для предъявления исторической реальности в их дискурсах.

Эти вопросы стали еще более затруднительными из-за того, что современные медиа сделали возможной запись и распространение большого числа личных свидетельств людей, переживших Холокост. Более того, многие свидетели этого события теперь могли требовать, чтобы их воспоминания были учтены в «официальной» или «доксологической» хронике, создаваемой историками на основе изучения доступных им письменных и вещественных источников. Кроме того, в то время как историки в обыкновенном для них черепащем темпе занимались реконструкцией того, что на самом деле произошло в ходе «Окончательного решения еврейского вопроса» и/или Холокоста, область исследований Холокоста (*Holocaust studies*) наводнило множество мемуаров, автобиографий, романов, пьес, фильмов, стихотворений и документальных фильмов. Многие историки опасались, что появление этих произведений приведет к эстетизации, релятивизации, фикционализации, превращению в китч и мифологизацию того, что было бесспорным фактом (или совокупностью фактов) и что, следовательно, могло быть «надлежащим образом» изучено только при помощи более-менее научных методов. С точки зрения многих историков это означало, что при рассмотрении любой репрезентации

«Окончательного решения» или Холокоста первый и главный вопрос, который необходимо задать, звучит следующим образом: «Правда ли это?». И если ответ на этот вопрос оказывается отрицательным или содержит некоторую двусмысленность, то данная репрезентация должна быть отвергнута не только как искажающая реальность, но, учитывая причиненные жертвам Холокоста страдания, как ущемляющая их моральное право на правдивое и точное описание пережитых ими событий.

Но как насчет огромного массива свидетельств выживших? Должны ли они соответствовать тому же критерию правдивости, который предъявляется повествованию историка о том или ином событии прошлого? Безусловно, мы должны требовать, чтобы свидетель, рассказывающий о своем опыте, по крайней мере стремился говорить правду, но является ли соблюдение корреспондентной теории истины тем, что интересует нас в таких свидетельствах главным образом? Очевидно, это должно интересовать нас в первую очередь в случае, когда свидетельские показания даются в суде, где основная цель – установить, что произошло и кто несет за это ответственность. Но когда важно выразить, каково это – быть подвергнутым такому обращению, которое испытали на себе жертвы Холокоста, – то кажется неуместным требовать, чтобы эти свидетельства соответствовали корреспондентному идеалу истинности. Даже когерентная теория истины, кажется, не слишком подошла бы для оценки весомости свидетельства жертвы. В этом случае вопрос «Правда ли это?» может быть только «риторическим».

Позже я вернусь к статусу свидетельства жертвы. Сейчас же я хочу продолжить рассуждение об уместности вопроса «Правда ли это?» при оценке художественных, и в особенности литературных, трактовок Холокоста. Конечно, художественная и литературная трактовка Холокоста представляет проблему для историков, наделяющих это событие своего рода сакральным статусом. Особенно если «художественное» отождествляется с «эстетическим», а «литература» – с «вымыслом» (*fiction*). Я хочу поставить под вопрос необходимость этих двух типов отождествления.

Если за Холокостом признается онтологический статус, который запрещал бы его образную репрезентацию, и единственное, что мы можем делать – это благоговеть и чтить память жертв, то очевидно, что любую художественную или литературную трактовку Холокоста следует считать своего рода богохульством. Такое отношение заведомо исключило бы любую историографическую трактовку Холокоста в той мере, в какой она могла бы использовать эстетические или фикциональные стратегии в составе ее демонстрации (*presentation*). Но, по крайней мере на мой взгляд, именно это и делает нарративная

ХЕЙДЕН УАЙТ

ПРАВДА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ЧТО (ВСЕ-ТАКИ) ПОДОБАЕТ
ГОВОРИТЬ О ХОЛОКОСТЕ?



трактовка Холокоста или отдельных его эпизодов. Именно по этой причине философ (и мой дорогой друг) Берел Ланг рекомендует отказаться от любых попыток нарративизировать Холокост и вместо этого предлагает остановиться на хронике – простом перечислении фактов в порядке их происхождения, установленном путем буквального прочтения документальных источников.

Берел Ланг совершенно прав, когда рассматривает нарративы и нарративизацию, или, проще говоря, рассказывание историй, не как достоверное отображение реального хода событий, а скорее как «опасное дополнение» к их строго правдивому описанию². Для него изложение событий Холокоста в форме рассказа – это еще один пример фигурации, которая жертвует буквальным описанием событий в угоду эстетической прихоти или игре. Эстетическая трактовка Холокоста, по его мнению, подчиняет правду факта эгоистичному стремлению художника продемонстрировать свою искусность и двусмысленному воздействию риторической и поэтической фигурации. Здесь Берел Ланг занимает сторону Карло Гинзбурга с его попытками защитить правду историка от разъедающего воздействия скептицизма и релятивизма. Гинзбург выступает против релятивизма, поскольку тот отвергает возможность существования одного-единственного верного взгляда на мир, и против скептицизма, поскольку тот, по его мнению, исключает возможность существования истины как таковой. Плюрализм и скептицизм поощряют индифферентное отношение к истине и такое отношение к ценностям, которое можно обобщить фразой «всякая точка зрения имеет право на существование»³. Ланг выступает против эстетизации и фикционализации событий, обладающих таким моральным весом и онтологическим содержанием, как Холокост.

В своем докладе на конференции «“Окончательное решение” и границы репрезентации», организованной Саулом Фридлендером и Вульфом Канштайнером в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в 1990 году, я стоял на том, что проблема репрезентации Холокоста не должна осмысляться в традици-

2 Берел Ланг – главный сторонник идеи, что Холокост является «буквальным событием», то есть событием, о котором не следует говорить ничего, кроме чистой правды. По мнению Ланга, Холокост – это событие, которое по своей природе исключает любую декоративную, поэтическую, риторическую и «художественную» обработку, кроме почтительного безмолвия. С философским тактом и этической пронциальностью он развивает, уточняет и совершенствует свою идею в целом ряде работ: LANG B. *The Representation of Limits* // FRIEDLANDER S. (Ed.). *Probing the Limits of Representation: Nazism and the «Final Solution»*. Cambridge: Harvard University Press, 1992; IDEM. *Holocaust Representation*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 2000; IDEM. *Philosophical Witnessing: The Holocaust as Presence*. Lebanon: Brandeis University Press, 2009; см. также: WOLLASTON E. «What Can – and Cannot – Be Said»: *Religious Language after the Holocaust* // *Journal of Literature and Theology*. 1992. Vol. 6. № 1. P. 47–57; BRATTERMAN Z. *Against Holocaust-Sublime* // *History and Memory*. 2000. Vol. 2. № 2. P. 7–28.

3 GINZBURG C. *Just One Witness* // FRIEDLANDER S. (Ed.). *Op. cit.* P. 82–96.

онных (относящихся к XIX веку) категориях – таких, как реализм, история, репрезентация, эстетика, вымысел, идеология, дискурс, повествование и миметическая концепция описания. Само явление Холокоста сделало очевидным, что новая реальность, заявившая о себе во Второй мировой войне, в сочетании с модернистским взглядом на природу дискурса, репрезентации, истории и самого искусства поставила под сомнение довоенные представления о них – если не продемонстрировала их полную несостоятельность.

Я не собираюсь пересказывать соображения, изложенные мной тогда. Вместо этого, я попытаюсь разобраться с тем, как представлять (*to present*) Холокост в качестве исторического феномена – «новый», если не сказать «аномальный», характер которого в истории современной Европы я охотно признаю, – принимая во внимание все последствия вопроса «Правда ли это?», заданного применительно ко всякой репрезентации Холокоста в историографии, литературе, кино, фотографии, философии, социальной науке и так далее.

Проблема репрезентации Холокоста не должна осмысляться в относящихся к XIX веку категориях – таких, как реализм, история, репрезентация, эстетика, вымысел, идеология, дискурс, повествование и миметическая концепция описания.)

Это касается и таких откровенно художественных версий свидетельств жертв, как мемуары Примо Леви «Человек ли это?» («*Se questo é un uomo*»), комикс Арта Шпигельмана «Маус» и фильмы «Ночной портье» («*Il portiere di notte*») Лилианы Кавани, «Список Шиндлера» Стивена Спилберга и «Жизнь прекрасна» («*La vita è bella*») Роберто Бенини. Хотя очевидно, что все эти художественные произведения говорят о реальном историческом событии – Холокосте, – многие историки не только рассматривают их как «неисторические», но и полагают, что они фикционализируют и эстетизируют событие, которое по своей природе обладает моральным правом на строго правдивое изложение⁴.

И именно здесь я хочу поставить под сомнение допустимость, уместность, тактичность и адекватность вопроса «Правда ли это?» в отношении *всех* дискурсов, отсылающих к реальным историческим событиям в ходе их разработки. Мой ответ

⁴ Недавно я познакомился с молодым историком, который рассказывал студентам о книге Леви «Человек ли это?» в рамках курса о Холокосте. Он поведал мне, что его все время беспокоил вопрос, какая часть текста «выдуманна», а какая несет в себе фактическую информацию.

ХЕЙДЕН УАЙТ

ПРАВДА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ЧТО (ВСЕ-ТАКИ) ПОДОБАЕТ
ГОВОРИТЬ О ХОЛОКОСТЕ?



будет примерно следующим: да, всегда уместно задавать вопрос «Правда ли это?» в отношении любого описания прошлого, заявляющего о себе как об *историческом* описании. Однако я считаю, что вопрос «Правда ли это?» вторичен для дискурсов, отсылающих к реальному миру (прошлого или настоящего), но недеklarативных по своему модусу. Это прежде всего касается художественных (словесных, музыкальных и визуальных) репрезентаций реального мира (прошлого или настоящего), которые в своем современном виде, как правило, избирают модусы, отличные от простой декларации – например, вопросительный, повелительный и сослагательный⁵.

Поставленный мной вопрос – «В каких случаях спрашивать “Правда ли это?” не имеет смысла?» – часто обсуждается как проблема моральности говорения правды. Например, в каких случаях правильнее или предпочтительнее соврать, или, иными словами, могут ли обстоятельства сложиться таким образом, что будет «лучше» соврать, чем сказать правду? Этот вопрос меня не интересует. Меня интересует, следует ли отказаться от вопроса «Правда это или ложь?» по отношению к определенному виду дискурса, парадигмой которого является свидетельская литература и примером которого могут служить модернистские литературные произведения о Холокосте⁶. Этот вопрос интересует меня по причине убежденности некоторых историков в том, что история и все утверждения об истории или прошлом должны «говорить правду». Более того, принцип историографических утверждений заключается в том, что они не должны «лгать», «искажать», а также отрицать, упускать, отвергать и дезавуировать те «факты», которые были выявлены в «реальности» прошлого. Все это довольно плохо, согласно моральной эпистемологии, лежащей в основании значительной части современных размышлений об историческом письме – но намного, намного хуже фикционализировать историю, преподнося «вымышленные» вещи как «факты», превращая «факты» в вымысел или смешивая факты и вымысел, подобно таким низ-

5 PRESNER T. *Subjunctive History: The Use of Counterfactuals in the Writing of Disaster* // *Storiografia: Rivista annuale di storia*. 2000. № 4. P. 23–38.

6 Безусловно, существует множество работ, авторы которых говорят о том, что художественная или поэтическая обработка Холокоста неизбежно «эстетизирует» его, как будто «эстетизировать» значит приукрашивать событие или представлять его как нечто желаемое. Аналогичным образом некоторые теоретики считают, что «литературная» обработка Холокоста неизбежно фикционализировать его, как будто литературное письмо сводится исключительно к письму фикциональному. Проблема заключается в самих понятиях «эстетический» и «литературный». Я полагаю, что эстетика имеет дело с эффектом чувственного восприятия объекта, сцены или события и познавательным значением такого эффекта. Когда я называю что-либо «литературным», то имею в виду использование определенных приемов, техник и символизаций для наделения значением реально существующих или вымышленных вещей. Другой взгляд на дискуссию о том, «что надлежит показывать об Освенциме» см. в: ALPHEN E. VAN. *Caught by Images: On the Role of Visual Imprints in Holocaust Testimonies* // *Journal of Visual Culture*. 2000. Vol. I. № 2. P. 205–222; DIDI-HUBERMAN G. *Images in Spite of All: Four Photographs from Auschwitz*. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

ким жанрам, как исторический роман, историческое кино или так называемая «докудрама» (предполагается, что она представляет собой «драматизацию» некоей исторической реальности). Такого рода преступление, грех или проступок сродни возмутительной «мифологизации» реальности или «метаисторическому» подходу к исторической действительности в духе Гегеля, Маркса, Ницше, Шпенглера, Тойнби и других.

Я считаю, что «дискурс» Холокоста включает в себя не только упомянутые мной вопросы, но также истории или исторические трактовки Холокоста, поскольку они, пытаясь отвечать на сугубо «фактические» вопросы, затрагивают также вопросы теории: начиная с того момента, когда историк задается вопросом «Что это?», и заканчивая тем моментом, когда в уже опубликованной книге или статье мы встречаем утверждение «произошло такое-то событие». *Теоретический* вопрос «Что я вижу перед собой?» относится к тому же дискурсу, что и ответ, представленный в виде набора фактов, которые складываются в утверждение «То, что вы видите перед собой, – это Холокост, геноцид, истребление и другие подобные преступления». И, поскольку теоретический вопрос «Что это?» относится к тому же дискурсу, что и ответ «это X», мы не можем с полным основанием (то есть без тавтологии в логике) указать на ту или иную историю Холокоста, написанную тем или иным историком, как на *пример* «подобающего» изложения событий.

Что значит *подобающее*? – это одновременно вопрос фактический (как оно выглядит, каковы его атрибуты или что оно сделало?) и вопрос нравственный (какова его «природа», «сущность», «суть», применительно к которой мы можем говорить о «правильности» вещи, то есть о ее «самотождественности» своему ходу, динамике, желанию, суждению, действию и так далее). *Аутентичность* (обстоятельства, при которых вещь всегда *кажется* тем, чем она является, или всегда *является* тем, чем она кажется) можно также определить как совершение правильных действий в правильное время в правильном месте с правильными задачами, предметом и целью, с использованием правильных средств для совершения именно этого действия и никакого иного. Трудность жить в соответствии с этим идеалом аутентичности обнаруживается в ситуациях, когда речь идет о «природе» вещи, которая оценивается с точки зрения ее аутентичности или тождественности самой себе.

Таким образом, если в подтверждение определенного представления о том, чем является Холокост, чем он мог бы или должен считаться, я привожу конкретную репрезентацию Холокоста как пример того, что нужно понимать под аутентичной и правильной его демонстрацией (*presentation*), мое суждение об этом должно восприниматься как асерторическое, катего-

ХЕЙДЕН УАЙТ

ПРАВДА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ЧТО (ВСЕ-ТАКИ) ПОДОБАЕТ
ГОВОРИТЬ О ХОЛОКОСТЕ?



ХЕЙДЕН УАЙТ

ПРАВДА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ЧТО (ВСЕ-ТАКИ) ПОДОБАЕТ
ГОВОРИТЬ О ХОЛОКОСТЕ?

рическое или проблематическое, то есть как суждение в модусе гипотезы, императива или вопроса. Если это *ассерторическое* суждение, тогда пример может использоваться в качестве модели, которая производит гипотезы, требующие проверки в виде расспроса. Если это *категорическое* суждение, тогда пример необходимо рассматривать как парадигму или исходный образец, который определяет не только вопросы, которые следует обращать к предмету изучения, но также и моральную позицию, подобающую для данного исследования. Наконец, *проблематический* пример представляет собой апорию, то есть затруднение при решении, считать ли данный пример категорическим или ассерторическим. Здесь я следую за размышлениями Канта в его «Основоположениях метафизики нравов»⁷.

Кант считал, что в случае с этическими вопросами мы не можем законно пользоваться примером, чтобы предложить искомый принцип, с помощью которого можно «подобающим образом» направлять исследование, поскольку этот принцип нужно искать в операциях разума, очищенного как от нравственных, так и от эстетических «интересов». Но, если вопрос в том, что считать подобающим – а это вопрос нравственный, – чистый (или научный) разум не может предложить нам принцип для определения «того, что подобает». Если я говорю о том, что *следовало бы* делать при создании репрезентации такого события, как Холокост, относясь с должным вниманием к его истинной «природе», и при этом рекомендую один способ рассмотрения данного феномена, отдавая ему предпочтение перед другим, мое утверждение стоит воспринимать как своего рода рекомендацию или императив. Например: «Попробуйте воспользоваться данным способом изложения истории Холокоста (например подходом Кристофера Браунинга, а не Дэниэла Голдхагена)» или же: «Пишите историю Холокоста только так и никак иначе!».

Ни в одном из этих случаев вопрос «Правда ли это?» не будет правильной реакцией на высказывания вроде «Попробуйте это!» или «Сделайте это!». Правда ли, что я должен попробовать написать свою историю Холокоста, используя модель X? Или же: правда ли, что я должен не только писать историю Холокоста определенным образом, но также излагать ее в определенном модусе (под этим я подразумеваю особую почтительность, благоговение и внимание по отношению к предмету исследования)? Ведь вопрос «Правда ли, что я должен сделать [именно это]?» является деонтологическим, то есть это вопрос об обязательстве, и правильной реакцией на него будут встречные вопросы: «Кто так говорит?» или «Кому или чему я обязан делать [именно это]?» И если ответ на этот вопрос –

7 КАНТ И. *Основоположения метафизики нравов* // Он же. *Собрание сочинений: В 8 т.* М.: Чоро, 1994. Т. 4. С. 184–191.

«Вы должны поступать так в силу самой природы события, историю которого вы пишете», – то, как видите, мы возвращаемся к изначальному вопросу: какова природа события под названием Холокост?

Затруднение, в котором увяз дискурс о Холокосте, в том, что мы можем говорить правду о чем бы то ни было в различных модальностях, не только отвечая на простые декларативные предложения, – именно такой способ обычно рассматривается философами как модель утверждений, претендующих на истинность. Конечно, на высказывание вроде: «Дело обстоит так (или – это правда), что снег белый и что кошка сидит на коврике» – можно отреагировать вопросом «Правда ли это?». Но на высказывания в форме вопроса («Где кошка?»), пожелания («Вот бы у меня была кошка») и даже императива («Найди кошку!») нельзя отреагировать вопросом «Правда ли это?».

Конечно, все это элементарно. Но, применяя идею модальности не только к предложениям, но к целым дискурсам, мы сможем допустить, что романы, пьесы, истории и, возможно (кто знает?), даже философские дискурсы могут быть изложены в различных модусах, лишаящих даже фактические утверждения их декларативной силы. Ограничиваясь интересующей меня областью и гипотезой, что существует больше одного модуса, позволяющего «говорить правду о прошлом», я хочу сказать, что исторический роман и беллетризованная история – это примеры недеklarативных дискурсов. Их истина может заключаться не столько в том, что они *утверждают* (*assert*) в модусе сообщения фактической истины, сколько в том, что они *означают* (*connote*) в других наклонениях и залогах, известных грамматике: иными словами, в вопросительной, конативной или коактивной и сослагательной *модальности* и в действительном, страдательном и среднем (*voice of transumption*) *залоге*. Таким образом, например, вопрос «Правда ли это?» имеет меньше смысла применительно к стихотворению, роману или истории в модальности вопроса или пожелания, чем применительно к высказыванию в модальности приказа. «Правильной» реакцией на приказ может быть «Да, сэр» или «Нет, сэр», но при этом (если речь не идет о приказе, отданном в рамках армейской иерархии или отношений раб-господин) не будет неуместным высказывание в сослагательном наклонении: «Я предпочел бы отказаться» – как в случае рассказа «Писец Бартлби» Германа Мелвилла.

Подобные рассуждения перемещают нас в область теории речевых актов, где правильность реакции на высказывание «зависит от контекста» и соответствия «условиям успешности» (то есть правильности). В случае исследований прошлого существует ряд различных способов обращения, наблюдения,

ХЕЙДЕН УАЙТ

ПРАВДА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ЧТО (ВСЕ-ТАКИ) ПОДОБАЕТ
ГОВОРИТЬ О ХОЛОКОСТЕ?



приветствия или иного инвестирования в прошлое. Например, можно рассматривать прошлое как место, из которого происходит кто-то или какая-то группа. Или (что совсем другое дело) можно считать прошлое местом появления кого-то. Опять же, можно воспринимать прошлое как то, что произошло или было сделано до нас. В свою очередь такое чувство прошлого можно счесть достоянием или бременем, от которого необходимо избавиться, но в обоих случаях это присутствие (*presence*), *повидимому, являющее собой* (аподиктически) загадку (головоломку, которую нужно разгадать, как в романе Томаса Пинчона «Выкрикивается лот 49») или аномалию (настоящую проблему, которая может оказаться неразрешимой, как в романе Тони Моррисон «Возлюбленная»).

Я хотел бы напомнить, что теория речевых актов, согласно ее создателю Джону Лэнгшо Остину, преследовала цель покончить («сыграть Старого Гарри») с двумя фетишами: «фетишем истинности/ложности» и «фетишем факта/оценки»⁸. Как отмечает Остин, ключевые для теории речевых актов примеры содержатся в классе речевых актов, которые он называет «бехабитивы» и которые включают в себя такие действия, как «извинение», «поздравление», «похвала», «выражение соболезнования», «проклятие» и «вызов»⁹.

Согласно Остину, бехабитивы – один из пяти классов речевых актов. К четырем оставшимся классам речевых актов относятся: вердиктивы (вынесение вердикта, оценка), экзерситивы (назначение, голосование, приказ), комиссивы (обещание, объявление о намерении, поддержка) и экспозитивы (аргументы в дискуссиях и беседах, иллюстрации, примеры). Остин отмечает, что последние два класса речевых актов – экспозитивы и бехабитивы – «доставляют [...] наибольшее количество неприятностей».

«Бехабитивы беспокоят [...] тем, что они слишком неоднородны, экспозитивы – тем, что они невероятно многочисленны и важны, а также тем, что их легко перепутать с другими классами, хотя, безусловно, они обладают определенной уникальностью, хотя, в чем она заключается, даже я не могу дать себе отчета. Можно было бы вполне показать, что все эти аспекты представлены во всех выделенных мной классах»¹⁰.

Иными словами, согласно самому Остину, в попытке определить сущность речевых актов он сталкивается с трудностями. Его дискурс – экспозитивный, но он оставляет открытым эти-

8 Остин Дж. *Как совершать действия при помощи слов* // Он же. *Избранное*. М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 125.

9 Там же. С. 126.

10 Там же.

ческий (или бегахбитивный) вопрос: что мне следует делать, принимая во внимание данное описание феномена под названием речевые акты?

Итак, допустим, что меня как историка интересует история современной Германии; история еврейских сообществ в современной Европе; «места» «Окончательного решения еврейского вопроса», Холокоста, геноцида, истребления и так далее в этих историях; значение этого события для понимания того, что на самом деле произошло в то время и в том месте, которые относятся к этим историям. И поскольку я знаю об «особой», «экстремальной» и «исключительной» природе этого события – о том, что оно смущает не только европейцев, но и уязвляет самолюбие (*amour propre*) многих других групп и что оно несет угрозу их чувству индивидуальной и групповой идентичности, – можно предположить, что я так же знаю, что это событие имеет не только фактуалистическое (как, где и когда оно произошло), но также этическое значение, поскольку оно представляет собой нарушение фундаментального принципа человеческой цивилизации: ты не должен относиться к другому человеку, как если бы он был не вполне человеком, что также является правилом современного гуманистического историологического исследования; ты должен относиться ко всякому человеку в истории как к причастному *человечности* (*humanitas*), которую разделяют все люди. С учетом этих допущений возникает вопрос: говорят ли те сведения, которые мы получаем при изучении этого события, не только о том, *что* и *как* произошло, но также, что более важно, о том, какие условия сделали это событие возможным? То есть, если верить Аристотелю (а кто мы такие, чтобы ему не верить?), из области философии и истории мы переходим в область *poiesis*: «поэзии», или литературного искусства, понимаемого как вид познания, который направлен на возможное, а не на действительное (это область истории, как ее понимал Аристотель) или всеобщее (это область философии, как ее понимал Аристотель). Более того, на этой стадии рассуждения я собираюсь предположить, что теорию речевых актов Остина (который был достаточно практичным человеком, чтобы участвовать в планировании высадки в Нормандии) можно рассматривать как теорию поэтической функции языка (отличной от референтивной, экспрессивной, конативной, фактической и метаязыковой функций). Ведь что есть поэтическое высказывание, как не совершение действия при помощи определенного модуля, манеры или стиля?¹¹

ХЕЙДЕН УАЙТ

ПРАВДА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ЧТО (ВСЕ-ТАКИ) ПОДОБАЕТ
ГОВОРИТЬ О ХОЛОКОСТЕ?

11 Якобсон Р. *Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». Сборник статей /* Под ред. Е.Я. Басина, М.Я. Полякова. М.: Прогресс, 1975. С. 197–203 (в русском переводе статья была опубликована с сокращениями, см. оригинал: ЯКОБСОН R. *Closing Statement: Linguistics and Poetics //* СЕВЕКО Т. (Ed.). *Style in Language*. New York: Wiley, 1960. P. 353–357. – *Примеч. перев.*.)



ХЕЙДЕН УАЙТ

ПРАВДА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ЧТО (ВСЕ-ТАКИ) ПОДОБАЕТ
ГОВОРИТЬ О ХОЛОКОСТЕ?

Теперь давайте вспомним, что Остин рассматривает речевой акт как «иллокутивный»: то есть человек, произнося ту или иную фразу, не только что-то говорит, но и делает; он либо меняет отношение автора высказывания к миру, либо отношение одной части мира к другой, либо отношение мира к самому автору высказывания. И, если это так – а многие из комментаторов Остина согласны с этим, – значит, мы можем рассматривать дискурсы, одним из которых является «историография», в качестве речевых актов. Эти речевые акты, сообщая что-то о мире, стремятся изменить либо сам мир, либо что-то отношение к миру, либо отношения между различными вещами в этом мире. Иными словами, при помощи теории речевых актов Остина мы можем представить дискурс или такую совокупность дискурсов, как «историография», в виде праксиса, то есть как действие, которое стремится изменить мир или повлиять на него тем самым *способом*, при помощи которого оно о нем говорит. (Я думаю, что на этом принципе основывается идея, что суд вправе признать отрицание Холокоста преступлением и в качестве наказания назначить штраф, тюремное заключение или любую другую меру пресечения. Человек, отрицающий Холокост, не только что-то сказал, он также что-то *сделал* своими словами; то есть своими словами он изменил или попытался изменить отношения в реальном мире так же, как если бы он использовал проклятье или магическое заклинание. Вот почему историки, выступавшие против криминализации отрицания Холокоста, были правы, когда указали на одну упущенную судьями деталь – а именно, что если отрицание факта, установленного историками, является преступлением, то стирается различие между невинной ошибкой и злым умыслом. Если кто-то отрицает Холокост, то уместнее спросить не «Правда ли это?», а скорее «Что побуждает его отрицать это событие?».)

Если отрицание факта, установленного историками, является преступлением, то стирается различие между невинной ошибкой и злым умыслом.

Примером текста, который явно рассказывает о реальных событиях, и конкретно – о мире Освенцима, но применительно к которому было бы бестактно задавать вопрос «Правда ли это (с исторической точки зрения)?», могут служить мемуары Примо Леви. В них рассказывается о последних месяцах Второй мировой войны, проведенных Леви в Освенциме. Книга «Человек ли это?»¹² содержит множество декларативных вы-

¹² Леви П. *Человек ли это?* М.: Текст, 2001. С. 11.

сказываний, которые предполагают, что их нужно воспринимать как истинные в буквальном смысле слова (то есть как референциально истинные и семантически значимые). Но название мемуаров Леви взято из стихотворения, которое служит эпиграфом ко всей работе и паратекстуальной парадигмой ее предполагаемого смысла-эффекта (*meaning-effect*). Стихотворение называется «Шма» (еврейская декларация веры в Израиль), и начинается оно с обращения, но не к читателю, а к анонимному «вы»:

Вы, что живете спокойно
В теплых своих жилищах,
Вы, кого дома по вечерам
Ждет горячий ужин и милые лица,

Подумайте, мужчина ли это –
Тот, кто не знает покоя,
Кто работает по колено в грязи,
Кто борется за хлебные крохи,
Кто умирает по слову «да» или «нет»?

Подумайте, женщина ли это –
Без волос и без имени,
Без сил на воспоминанья,
С пустыми глазами, с холодным лоном,
Точно у зимней лягушки?

Представьте, что все это было:
Заповедую вам эти строки.
Запечатлейте их в сердце,
Твердите их дома, на улице,
Спать ложась, просыпаясь.
Повторяйте их вашим детям.

А не то пусть рухнут ваши дома,
Пусть болезнь одолеет,
Пусть отвернутся от вас ваши чада¹³.

Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
Voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo é un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un si o no?
Considerate se questo é una donna

ХЕЙДЕН УАЙТ

ПРАВДА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ЧТО (ВСЕ-ТАКИ) ПОДОБАЕТ
ГОВОРИТЬ О ХОЛОКОСТЕ?

13 Рус. перев. Евгения Солоновича с небольшим изменением дан по: Там же. С. 11. – *Примеч. науч. ред.*



ХЕЙДЕН УАЙТ

ПРАВДА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ЧТО (ВСЕ-ТАКИ) ПОДОБАЕТ
ГОВОРИТЬ О ХОЛОКОСТЕ?

Senza capelli e senza nome
Senza piú forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come un rana d'inverno
Meditate che questo é stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via.
Coricandovi alzandovi;
Ripetele ai vostri fi gli.
O vi sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il visi da voi.

Хотя использование стихотворения или молитвы в качестве эпитафии к мемуарам не является чем-то необычным, оно призывает читателя задуматься над смыслом жизни в Освенциме, ибо рассказывает нам о способности человека унижать себе подобных. «Подумайте», предлагает вторая строфа стихотворения, не сделало ли унижение, которому подвергались *Häftlinge* (заключенные) лагерей, их меньше, чем «мужчины» и «женщины». Само предложение «подумать» никак не комментируется в стихотворении, но в двух первых строках следующей строфы читателю говорят: «Представьте [*meditate*], что все это было: / Заповедую вам [*commando*] эти строки»¹⁴. Затем следует проклятие в адрес тех, кто не «запечатлеет их в (своем) сердце», ложась спать и просыпаясь, дома или на улице и не «повторит их [своим] детям».

А не то пусть рухнут ваши дома,
Пусть болезнь одолеет¹⁵,
Пусть отвернутся от вас ваши чада.

Стоит отметить, что это не тот эпитафия, который ожидаешь увидеть в начале «исторического» описания жизни или воспоминаний о каком-то ее эпизоде. Угроза проклятием – это не тот речевой акт, который обычно используется в качестве эпитафии. Такой эпитафия указывает на то, что последующее повество-

14 Переводчики стихотворения Рут Фельдман и Брайан Суонн перевели итальянское слово *meditate* на английский как *consider* («представьте» в рус. перев. Евгения Солоновича. – *Примеч. перев.*). Я решил оставить *meditate*, так этот глагол имеет значение «размышлять о чем-то». *Consideration* – это особый способ соединения образов и мыслей, как в монтаже или коллаже. *Meditation* может последовать за *consideration*. Итак, я могу объяснить, почему строка, в которой читателю велит «представить [*meditate*], что все это было», оканчивается двоеточием, а за ней следует фраза «заповедую вам эти строки». Императив *meditate*, переведенный Фельдман и Суонном как *consider*, действительно предполагает *commando*, («заповедую» в рус. перев. Солоновича. – *Примеч. перев.*), которое ближе к английскому *obey*, а не *commend*. Это анафорическое повторение строки «Considerate se...», но здесь то, что «могло быть», теперь произошло.

15 Фельдман и Суонн переводят «La malattia vi impedisca» как «Disease render you powerless» («Пусть болезнь одолеет» в рус. перев. Солоновича. – *Примеч. перев.*).

вание будет чем угодно, но только не хладнокровным и объективным изложением фактов или документальной хроникой.

Тем не менее, как я попытался продемонстрировать это в своем прочтении «Человек ли это?» в журнале «Parallax», особая *литературность* текста Леви, его скорее поэтическая, нежели документальная, природа освобождает его от тех вопросов, которые могли бы быть заданы в зале суда¹⁶. Это не означает, что он «вымышленный», и, конечно же, не означает, что он «эстетический». Это лишь означает, что он использует литературные приемы (например обращается к традиционным литературным или мифологическим сюжетным структурам – в частности, к нисхождению в ад у Данте), фигуры и принципы лингвистической связи и психологической ассоциации скорее тропологические, чем логические, по своей сути.

Леви использует тропы (катахрезу, метонимию, иронию, синекдоху и так далее) и фигуры (превращая людей в «характеры» и «типы», которые мы находим в мифах, легендах и романах), чтобы описать реальную ситуацию, где ежедневно приходится делать выбор и принимать решения о жизни и смерти. Во многих отношениях текст Леви соответствует жанровым принципам исповеди, ведь он, как и другие выжившие, ищет оправдания.

Но, конечно, дело не только в искуплении грехов самого Леви. Его текст – это описание того, на что похожа жизнь и смерть в концентрационном лагере Освенцим. Это не воображаемый мир, однако едва ли можно описать его, не используя поэтических средств. Я неоднократно отмечал, что Леви не сообщает никакой фактической информации, которую нельзя было бы отыскать в справочнике. Вместо того, чтобы рассказывать нам о том, «что произошло», он рассказывает о том, «как это можно почувствовать», насколько унижительно это – «выживать в Освенциме».

Находимся ли мы тогда в области вымысла?

Едва ли.

В предисловии к итальянскому изданию «Человек ли это?» Леви обсуждает проблему жанровой принадлежности книги. Он пишет: «Я знаю о недостатках в построении книги и прошу извинить меня за них». Но затем он добавляет: «Если не фактически, то как идея она родилась в дни лагеря». Необходимость «рассказать “остальным”, сделать “остальных” соучастниками» приняла среди выживших «характер настолько неотложной и настойчивой потребности, что вступила в соперничество со всеми иными потребностями; при этом главным стимулом к написанию книги стала попытка внутреннего ос-

ХЕЙДЕН УАЙТ

ПРАВДА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ЧТО (ВСЕ-ТАКИ) ПОДОБАЕТ
ГОВОРИТЬ О ХОЛОКОСТЕ?

16 WHITE H. *Figural Realism in Witness Literature* // Parallax. 2004. Vol. 10. № 1. P. 113–124.



вобождения»¹⁷. «Отсюда, – добавляет он, – ее фрагментарный характер: отдельные главы писались не в логической последовательности, но в зависимости от того, о чем не терпелось рассказать в первую очередь». Повторная переработка материала, его распределение и соединение в главы были сделаны позже. Таким образом, Леви, чтобы снискать расположение читателей (*captatio benevolentiae*), публикует книгу без прикрас, со всеми ее недостатками, как мы и сказали. Но тут не обходится без лукавого предупреждения в адрес историков: «*Mi pare superfluo aggiungere che nessuno dei fatti e inventato*»¹⁸.

То есть Леви будто бы увидел книгу во сне и затем приступил к работе над ней, размышляя о том, что ему приснилось. Что это говорит о фактическом содержании книги? Леви дает лаконичный и неоднозначный ответ: «Мне представляется излишним добавлять, что ни один из фактов не является вымышленным»¹⁹.

Не могу не отметить, что последнее предложение может быть прочитано двояко: либо «ни один из фактов не является вымышленным» (в этом случае сохраняется вероятность, что другие вещи – не факты – могут быть вымышлены), либо «ни один из фактов не является вымышленным» (в этом случае нам попросту сообщают то, что мы ожидаем услышать, – то есть, что факты установлены или приведены, а не «выдуманы»). В любом случае в этом предложении Леви предупреждает нас, что его повествование – это нечто большее, чем факты, или вымысел, или вообще что-то третье. И почему бы нет? Описывая условия жизни в лагере, он отмечает, что различие между фактом и вымыслом становилось там столь же расплывчатым, как и различие между добром и злом. Все существовало в «серой зоне», которую Леви опишет в своей более поздней работе «Канувшие и спасенные». Его идея, как мне кажется, заключается в том, что в реалиях лагеря найти смысл происходящего так же сложно, как и найти смысл любой жизни в «истории».

Итак, представляет ли опыт жертв Холокоста и тех, кому удалось пережить его, новый вид опыта, доселе неизвестный «истории»? И если да, то что можно сказать об этом опыте, что не нарушило и никоим образом не умалило бы этого ощущения исключительности? Мое предположение заключалось в том, что на основании любого строго фактического описания мы не можем установить, был ли Холокост новым событием, событием нового типа или просто событием старого типа, принявшим

17 Леви П. Указ. соч. С. 9–10.

18 LEVI P. *Se questo é un uomo* // Идем. *Opere*. Roma: La Biblioteca di Repubblica-Espresso, 2009. P. 5. (В оригинальном тексте Уайт сначала цитирует эту фразу Леви по-итальянски и только в следующем абзаце – в английском переводе. – Примеч. ред.)

19 Леви П. Указ. соч. С. 10.

другой облик. Если это событие нового типа, событие, свойственное нашей современности, то этим объясняется наше беспокойство перед традиционными историографическими его трактовками. Выше я предположил, что прямолинейный декларативный модус, которому отдают предпочтение традиционные историки, не применим к огромному массиву свидетельской литературы по той причине, что историк должен интересоваться вопросом «Правда ли это?». Далее я предположил, что свидетели таких экстремальных событий, какими изобилует прошлый (и наш собственный) век, вполне могут писать или говорить о них в других экспрессивных модусах – таких, как вопросительная, повелительная или сослагательная модальность. Я готов пойти дальше и предположить, что, когда речь идет о художественной версии таких свидетельств, как книга «Человек ли это?» Примо Леви, вопрос о достоверности изложенных в них фактов имеет гораздо меньшее значение. Это скорее вопрос модальности, а не мимесиса.

*Перевод с английского Константина Митрошенкова и
Армена Арамяна под научной редакцией Андрея Олейникова*

ХЕЙДЕН УАЙТ

ПРАВДА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ЧТО (ВСЕ-ТАКИ) ПОДОБАЕТ
ГОВОРИТЬ О ХОЛОКОСТЕ?

